

П у б л и к а ц и и

ЧЕСЛАВ МИЛОШ. СЛОВАРЬ ВИЛЕНСКИХ УЛИЦ

*Перевод с польского, публикация, предисловие и примечания
Валентины Брио*

«Словарь виленских улиц» (Dukcyonarz wileńskich ulic) Чеслава Милоша – небольшой, включает описания 6-ти улиц. Эссе было написано в 1967 г., впервые опубликовано в 1972 г. (Pamiętnik Wileński, Londyn), затем вошло в книгу «Начиная от моих улиц» («Zaczynając od moich ulic», Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985). Для настоящей публикации мы разделили его на две, примерно, равные части.

«Словарю» предпослано поэтическое вступление, своеобразный эпиграф (нередкое явление в поэзии и прозе Милоша) – 12-ая глава его поэмы «Город без имени» («Miasto bez imienia», 1965). В этой, завершающей поэму о Вильно, главе выражены особенные свойства памяти и поэтического зрения Милоша: видеть город сразу во всех временах его существования. Эта глава написана *версе*, библейской строфой, тем самым Вильно помещается в библейское и историческое измерение, вбирает величие и драматизм, хранящиеся во внутренней памяти этой формы.

Описание улиц становится средством и способом воссоздания как виленской жизни прошлых лет (Милош жил в Виль-

но в 1920–1937 гг.), так и себя во времени и пространстве города.

Разные улицы отражают и выражают разные составляющие жизни города – его исторические, культурные, национальные, социальные, демографические, эстетические аспекты. Улицы у Милоша имеют и реально-топографическое, и сюжето-образующее значение, выступают и в качестве фигуры повествования.

Топонимические рассуждения вписывают в облик Вильно величественные легендарные и исторические воспоминания, смешивают их; звучит римская нота былого величия, отчего увеличивается очарование и загадочность города.

Милош очень точно соразмеряет пространства и раскрывает их включенность в душевную и духовную жизнь человека, а также значение и смысл этой включенности. «В городе или деревне, которые знаем с детства, мы передвигаемся в освоенном пространстве и, отдаваясь нашим занятиям, наталкиваемся всюду на ориентационные точки, облагораживающие рутину» («Поиск отчизны» – «Szukanie ojczyzny», 1992).

* * *

Почему лишь мне этот город вверяется беззащитный и чистый,
словно свадебное ожерелье забытого племени?..

Как нанизанные в Tuzigoot¹ голубые и рыжие зерна,
На медном пустыре семь веков назад,

Где на камне растертая охра ждет до сего часа
лоб и щечку, но нет там давно ни единой.

Чем заслужил я, каким во мне злом и какую милостью
пожертвование такое?

Стоит предо мною цельный, ни в одном дыме из трубы нет недостатка,
ни в едином эхе, когда переступаю разделяющие нас реки.

Может, Анна и Дорця Дружино вызвали меня с трехсотой
мили Аризоны, ведь, кроме меня, никто не знает, что жили когда-то?

И топают впереди по Надбжежной, два попугайчика, шляхтянки со Жмуди,
кику седую старых дев для меня расплетая ночью?

Здесь нет ни раньше, ни позже, все времена
дня и года длятся одновременно.

На рассвете рядами длинными едут говновозы; а служащие магистрата
на заставах в кожаные мешки собирают пошлину.

Шумя колесами, «Курьер» и «Быстрый» в Верки идут против течения,
а гребец, над Англией сбитый, мчится, растянутый на своем скифе².

У Петра и Павла ангелы опускают тяжелые веки
и усмеваются над монашкой, у которой нескромные мысли.

Бородатая, в парике, восседает за кассой, поучая
двенадцать своих продавщиц, пани Сора Клок.

А вся Немецкая улица подбрасывает над прилавками ленты текстиля,
готовясь на смерть и добывание Иерусалима.

Черные княжеские источники бьют в подземелье Кафедры
под гробницей юного Казимира и под дубовыми головнями пепелищ.

С молитвенником и корзинкой служанки плакальщица Барбара
возвращается на Бакшту в дом Рёмеров с литовской мессы у Святого Миколая.

О, как блестит! Это снег на горе Трехкрестовой и горе Бекеша,
не растопит его дыхание недолговечных людей.

С каким же великим знанием сворачиваю на Арсенальскую
и еще раз глаза открываю на тщетный конец света.

Через комнаты с шелестом шелка, одна, другая, десятая,
Бежал, не остановленный, – верил в последнюю дверь.

¹ Аутентичное древнее селение индейцев в Аризоне, исторический памятник. См. комм. Ч. Милоша в книге: *Gorczyńska R. (Ewa Czarnańska), Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Komentarze*, Kraków, 1992, s. 150.

² По всей вероятности, в этой строке – воспоминание о товарище по спортивному клубу Чеславе Рымкевиче (*Czesław Rymkiewicz*), брате поэта Александра Рымкевича, летчике, погибшем в воздушном бою в 1942 г. *Скиф* – спортивная лодка.

Но форма губ и яблоко, и цветок, приколотый к платью,
Было всем, что познать и взять было дано.

Не чуткая и не злая, не прекрасная, не безобразная, была земля,
невинная, для желанья и боли.

Без смысла этот подарок, если под огнями далеких ночлегов
не меньше в том было горечи, а больше.

Если не могу так исчерпать свою и их жизни,
чтобы гармониею сменился давний плач.

Как Ян из рода Демборог в старой лавке Страшуна³,
положен я навсегда между здешними именем и именем.

Уменьшается башня замка над кроной листвы,
и еще – еле слышная, может, то «Реквием» Моцарта, музыка.

В неподвижном свете шевелю губами, рад даже, может,
что не приходит желанное слово

Антоколь

Сначала надо пройти мимо пристани. Железные барьеры вдоль панели отполированы прикосновениями до блеска, – опереться на них или сесть и смотреть. Если я говорю сейчас о том, что видел, то должен предупредить: я там одновременно и маленький мальчик, и подросток, и взрослый молодой человек, – так что много лет сокращаются до одного мгновения. Видел я, прежде всего, пароход: и готовящийся к отплытию – то есть как публика всходит по мостику, как затыкают уши, когда засвистит и раз, и другой, как отвязывают канат с криками Юзюка на Антука и Антука на Юзюка – и приближающийся, но еще далекий, когда различается только блеск его колес. Пароходы назывались «Курьер» и, кажется, «Экспресс» (хотя не уверен), позже

появился третий – «Быстрый», внушительный, с настоящей палубой. Многие зависело от того, на какой удастся попасть во время школьных прогулок в Верки. Пароходы ходили вверх по реке, в Верки, и даже дальше, в Неменчин, и никогда вниз. Дальше лодочная пристань – лодки раскрашены разноцветными полосами в длину, от чуть приподнятого носа до кормы. Перевозчик усаживал пять-шесть человек и переправлялся на другой берег, в район Пюромонт, используя длинное, тоже разрисованное весло для отталкивания – наверное, вода весной или поздней осенью бывала высокой. Я смотрел также на проплывающие плоты⁴ – длинные, как поезда, связки сплаваемого леса, в основном, соснового, с шалашом и костром на последнем плоту, у которого тоже было длинное и тяжелое рулевое весло. Лесопилка, у которой плоты останавливались, так что иногда вся Вилия была ими запружена, находилась немного ниже, за Зеленым мостом, напротив костела св. Якуба.

³ Речь идет о герое произведения Владислава Сырокомли (псевд. Людвика Кондратовича, 1823-1862) «Urodzony Jan Dkboгy», точнее, о книге под таким заглавием в еврейской общественной библиотеке – виленской библиотеке Страшуна, в основание которой легло собрание книг Матитьягу Страшуна (1817-1885).

⁴ Ч. Милош дает и их местное название – *plyty* (досл. *плиты*).

Большие пароходы я тоже видел, но не на Вилии, а на Немане, во время моих побывок в Ковне. Это уже прямо как иллюстрации из книг путешествий – их палубы были нагружены сундуками и бочками, иногда там даже стояли коровы и кони. Ходили далеко, аж до Юрборка. Правда, тот, на котором я плывал, не был большим, так как по Неману он шел лишь часть своего пути, до устья Невяжи, потом – по этой реке до местечка Бобты. Невяжа довольно глубокая, но очень узкая и извилистая, судоходная лишь в этой ее части. Те пароходы я почему-то считал чем-то казенным, вроде почты, и меня удивляло, что обслуживавшие их объяснялись на точно таком же польском, как прислуга на «Быстром» или «Курьере».

На Антоколь всегда шли мимо пристани, поэтому я пишу о ней здесь. Затем мост, точнее, мостик через Виленку в месте ее впадения в Вилию. А сам Антоколь – это, прежде всего, скука длинной, только частично застроенной улицы, мускульная память ног о пространстве «между»: между Вилией по левой стороне и горами по правой. Только склон Замковой горы, в углу между Вилией и Виленкой, был пышно зелен зеленью лиственного леса. Горы – Трехкрестовая и другие – это песчаная крутизна, редко поросшая соснами. Мы забирались туда не раз; место пустынное, и вид открывался оттуда, но, вообще, там довольно ветрено; интереснее был расположенный чуть дальше гористый Антоколь, в сторону от костела св. Петра и Павла. Барочные фигуры из этого костела я хорошо знал по фотографиям и даже по маркам Срединной Литвы, но при посещении чувствовалось разочарование – нагромождение терявшихся в гипсовой белизне деталей, которые может выхватить разве что лупа, настолько они мелкие. За костелом начинались лесные извилистые дороги с колеями в песке, на-

зывавшиеся улицами: Слонечна, Виосенна, Лесьна и т.п. Немного запрятанных в густоте деревянных домов – не столько вилл, сколько дач. В одном из них жил мой школьный товарищ и союзник в моих природолюбивых увлечениях – Леопольд Пац-Поморницкий, флегматичный солидный пан с животиком, лет четырнадцати. Его коллекция редких орнитологических книжек и птичьих чучел меня восхищала. У него, единственного сына довольно пожилых, как мне кажется, родителей, были свои собственные ружья. Поездка вместе с ним в деревню к Новицкому, другому нашему товарищу (помню его лицо, но не помню имени), остается для меня чем-то исключительно загадочным, мучительной тьмой, из которой проступает какой-то фрагмент и тотчас исчезает. Это было в день Всех святых где-то на южной оконечности Рудницкой пущи, кажется, вышли на станции Стасилы за Яшунами. Промерзшая земля, красно-синие заходы и восходы солнца, иней, деревня, пекущиеся на рассвете блины, белорусский говор, охота. И мы одни в доме, который был, я думаю, остатком какого-то поместья. Нас четверо: с нами девочка, ученица какой-то виленской гимназии или училища; ее черные глаза, бледность, грудной смех (хотя я совсем не вижу ее лица); в то время как нас с Пацем совершенно не занимали такие вещи, между ней и Новицким происходили какие-то мрачные любовные ссоры, исключавшие из их общества меня, щенка. В том же школьном году, ближе к весне, ее нашли мертвой в Закрете, на немецком военном кладбище – самоубийство, отравление или револьвер, но с Новицким это не связывали.

В сторону от костела Петра и Павла шли также тропинки, ведущие на лыжные горы. Вся незастроенная высота, которая на планах города называлась Антокольской рощей и Алтарией, тянулась аж до окраин

Заречья и Бельмонта; горки были, в основном, недлинные, но крутые («как с печи лбом»). На лыжах я ездил, как корова, но в короткое время в начале университетских занятий и моего усердного участия в Клубе Бродяг⁵ – упорно. Это период дружбы с Робеспьером⁶, который на лыжные прогулки ходил в красной фланелевой рубашке, поэтому снег антокольских взгорий и эта рубашка для меня связаны в один образ. А самая окраина Антоколя, где оканчивался город и начиналось Неменчинское шоссе, для меня тоже памятна: ребенком я наблюдал там панику отступления 1920 года.

Однако Антоколь остался для меня не столько улицами, по которым ходят, сколько берегом, вдоль которого проплывают: сразу за мостиком через Виленку размещались лодочные клубы, и среди них AZS [Академический спортивный клуб], с мостков которого отправлялись на байдарках или на каноэ. Вилия – очень быстрая река, и, даже если усердно грести против течения, можно продвигаться вдоль антокольского берега довольно медленно. Напротив AZS-а на другой стороне Вилии стоял Мицкевич Пронашки⁷, огромная кубистическая бочка, выдворенная туда отцами города, у которых, пожалуй, были основания не устанавливать ее в центре, среди старых камней.

А там уже скоро и песок первых пляжей – Тускуляны. Хотелось дальше, на этом пляже я был лишь раз, еще перед выпускными экзаменами, прогуливая уроки. Бывает, что

⁵ Академический клуб бродяг – студенческий клуб, противопоставлявший себя корпорациям и объединявший любителей путешествий, спорта и здорового образа жизни.

⁶ Принятый в Клубе бродяг псевдоним Стефана Ендрыховского (Stefan Jędrychowski), позднее публициста, после войны деятеля ПОРП.

⁷ Деревянная модель памятника Адаму Мицкевичу, изготовленная по проекту скульптора Збигнева Пронашко (Zbigniew Pronaszko, 1885–1958).

один час жизни, без видимых на то причин, запечатлевается во всей выразительности деталей. Итак, я вижу лежащих рядом со мной нагишом. Среди них – Стась, будущий инженер-электрик и офицер Royal Air Force. Через, трудно сосчитать, сколько лет, в 1967, мы с ним разбили палатку у озера Eagle Lake в калифорнийской Сьерре, и когда сразу после пробуждения шли из палатки прямо в воду или плавали на байдарке вдоль диких лесистых берегов, мы не были такими, как в Тускулянах, хотя как изменились наши тела, я не очень-то мог понять, разве что начинала сесть его русско-царская борода лопатой.

В названиях местности над Вилией можно найти сращение местных и чужих слов. Тускуляны, как я предполагаю, названы так просвещенными любителями латинской литературы, увидевшими в этом уединенном месте подобие Tusculum – дач зажиточных римлян⁸. Волокумпе – уже менее изысканно. Тринаполь (собственно, только белый костел над обрывом, знак для гребцов, что можно отдохнуть, потому что пройдены самые крутые течения) велит думать о Trinitas и имеет то же происхождение, что и расположенная недалеко Калвария. Прекрасные лесные Верки напоминают немецкое Werk [дело, труд, а также фабрика], но, по легенде, название происходит от плачущих орлиных птенцов – *verkti* по-литовски значит плакать.

Вилия вдоль Антоколя и до Верек была *freeway* ‘ем нашего города, как я научился говорить позднее вместо исконного нашего польского слова *автострада*.

Хотя я сказал бы – тракт. Стало быть, тракт, по которому отправлялся на прогулки виленский люд, исконный, живущий поколениями, не дворяне и не рабочие, а мало-

⁸ Добавим к этому: Tusculanum – усадьба, поместье близ города Tusculum.

мещане, т.е. прежде всего занятый ремеслами. Отправлялся парохомом или на лодке в кругу семьи: рубахи, подтяжки, смена на веслах, разноцветные платья женщин и банка с огурцами на закуску⁹. Другим народным развлечением были бани. В конце недели слышались там все особенности «тутейшего» говора, которые были бы кладом для лингвистов, хотя сомнительно, что лингвисты посещают публичные бани.

Вилия выше Вереек, почти совсем не посещаемая гуляющими, оставалась нетронутой так наз. цивилизацией. Она сохранилась в моей памяти от спуска до устья реки Жеймяны. Полная тишина, лишь плеск воды о борт, сверкающая на солнце белизна песчаных обрывов, продырявленных береговыми ласточками, нависающие корни сосен. Порою – длинный плот с дымком костра. Есть особенное величие в повороте плота на излучине реки. Рулевое весло впереди, рулевое весло сзади, часто подвигаемое двумя людьми, мужчиной и женщиной, длинный ряд плотов, медленно передвигающихся на другое течение. Изредка убегала назад какая-нибудь рыбацкая лодка у берега, временами – паренек нагишом на байдарке: наверное, проводит где-то там свои школьные каникулы и не ведает о дьявольских ловушках, которые уже расставляет на него История.

Летом Вилия напротив Антоколя делалась неглубокой, иной раз можно было брести пару километров по самой середине, немного подплывая, большей частью доставая дно. Вилию я соединяю с Антоколем потому, что плоты за Зеленым мостом означали конец этого речного тракта. Дальше река направлялась к закрытой литовской

⁹ Банка с огурцами выступает здесь и как своего рода символ определенного жизненного уклада, настолько устоявшегося, что его порою высмеивали – к примеру, Ю. Словацкий (кстати, часто упоминаемый в стихах и прозе Милоша).

границе; кроме того, река, вероятно, не была судоходной, учитывая то, что в одном, как минимум, месте она имела труднопроходимые водовороты и пороги. Городские стоки, особенно из больницы на Зверинце, отбивали охоту купаться и возле Зверинца, и на другой стороне, в лесу Закрета. Прогулки вниз по реке понуждали к затруднительным возвращениям против течения и поэтому устраивались редко. В колонию Братняк, Легатишки, уже у самой литовской границы, ездили поездом.

Арсенальская

Это короткая улица от угла Надбежной [Набережной] у самой пароходной пристани до Кафедральной площади. Похоже, раньше это было просто продолжение Антокольской. Лишь несколько домов, и то – только вдоль одного тротуара, вместо другого – железные завитки невысокой ограды сада (позади Кафедры), который называли Телятник. Угол Надбежной занимало большое некрасивое строение, дворец Тышкевичей, всегда запертый; много позже я узнал, что там помещалась библиотека Врублевских – его функция заключалась лишь в том, что он есть, и я не задавал себе вопроса, зачем он. Незадолго до войны во дворце разместился Институт исследований Восточной Европы, и тогда мне часто случалось ходить в это здание. А вот дом посреди Арсенальской, 6 я навещал регулярно, начиная от младших классов гимназии; там жили мои родственники, правда, дальние, Павликовские, именовавшиеся так «по ней», Чесе Павликовской, кажется, Славиньской *de domo*, которая велела называть ее тетей. Сам, Пшемислав Павликовский, – экс-полковник царской армии. На стенах висели фотографии из Бесарабии, где они долго жили и, кажется, имели недвижимость. Высокий, чернявый,

сухой, молчаливый, он ходил в узорчатом халате, сиживал на балконе, глядя на зелень сада, или раскладывал пасьянсы. Хозяйничал также в своих альбомах почтовых марок, что меня привлекало, ведь это было тогда и моим увлечением, и я получал от него в подарок редкие экземпляры. Из двух сыновей Павликовских старшего, Данека, я не помню: он рано покончил жизнь самоубийством; другой, инженер, после войны поехал в советский Туркестан работать как спец, вернулся с русской женой, купил автомобиль и стал одним из первых в Вильно таксистов, предаваясь авангардной профессии, – ну где это слыхано, чтобы человек хорошего происхождения брал чаевые. Русская жена ходила дома в восточных шароварах и курила папиросы в длинном мундштуке. Сестра Вацека, Марыся, работала в бюро, так что этот спокойный семейный коллектив – а все они проживали вместе – мог бы служить иллюстрацией начинавшихся тогда социальных перемен. С Марысей я познакомился совсем мальчиком, она какое-то время гостила в семье моего деда, в Шетейнях, в ковенской Литве, и это она читала мне «Огнем и мечом»¹⁰ на клеенчатом диване у окна в столовой, где надо было свернуться внизу клубком и караулить захваченное место, не высовывая босых ног на холодную клеенку рядом. Марыся, как, кажется, говорили старшие, была немного «манерная», для меня – просто таинственная, задумчивая, притягательная; длинная, с колышущимися бедрами, на белой шее она носила черную бархатную ленточку. Марыся принадлежала к поколению, которое созревало перед самым началом Первой мировой войны, отсюда в доме на Арсенальской томики стихов и литературные журналы этого периода. Если бы я не рассматривал там содержимое книжных

полок, то никогда бы не знал, к примеру, что выходил когда-то, в 1914-ом или 1915-ом годах, такой альманах – «Żórawce» [«Журавлики»], заполненный поздней младопольской¹¹ поэзией и прозой. Вообще, мои родственницы, взрослые панны, восхищавшие (немного эротически) меня в детстве, давали мне возможность как бы взглянуть на эпоху, которую я не мог помнить, – сам способ их существования сохранял что-то из нее. Сегодня мне это кажется смешным – называть другой «эпохой» времена десятилетней давности, но если те, что знали ее, выныривали для меня из какого-то тумана, действовало, видимо, общее правило: для каждого почти поколения едва минувшие события, стили, моды, являются очень отдаленными. Хотя, опять-таки, невозможно проверить, всегда ли дело обстоит именно так и не являются ли для нынешних молодых 1950-е годы другой геологической эрой. Но, наверняка, Первая мировая война и независимость Польши были для Марыси и ее ровесников переломом. Не столь значительным, правда, как мне казалось.

Марыся жила жизнью бюро, что означало не только работу, но и дружеские отношения, совместные маевки, даже заграничные путешествия. В течение тех лет, что я бывал у них сначала гимназистом, потом студентом, она понемногу старела, и я задумывался, как же так происходит, что женщины остаются старыми девами. На Арсенальской, 6 я чувствовал себя как дома, поэтому трудно найти более важное место в городе: иной раз я влетал туда, чтобы просто растянуться на диване. Там я написал пару стихотворений, которые люблю до сих пор. В этой же квартире я провел свою последнюю ночь в Вильно перед путешествием в Варшаву через зеленую границу

¹⁰ Роман Г. Сенкевича.

¹¹ Т.е., в стиле литературного течения «Młoda Polska» («Молодая Польша»).

в 1940 году, путешествием, более рискованным, чем я хотел в том себе признаться. Это происходило вскоре после занятия города советскими войсками, что мало волновало семью, потому что дядя Павликовский умирал и главной заботой было раздобыть баллоны с кислородом.

Институт исследований Восточной Европы в перестроенной или достроенной части углового здания – это уже современность: много света, светлые стены, мебель светлого дерева. Обычно я терпеливо дожидался, пока Дорек Буйницкий¹² закончит в окошке прием студентов, после чего мы показывали друг другу стихи и обдумывали литературные шутки. Бывал там также литовец Пранас Анцевич. С ним меня связывало близкое товарищество, и было время, когда мы виделись ежедневно, так как жили в студенческом общежитии на Буффаловой горе. Называя это имя, не могу не заметить, что мало знал я людей, которых бы так чернили, как этого умного и доброго человека. И никто лучше меня не знает, что это явная ложь.

Для меня Институт – это время перед самой поездкой в Париж и по возвращении оттуда, то есть 1934-ый и 1935-ый, период драм и упоений, в том числе и путешествиями. Возможно, независимо от непосредственных поводов, можно было бы увидеть в этом какую-то кратковременную открытость страны. Между дном хозяйственного кризиса и сгущающимся мраком конца тридцатых годов – какой-то взлет, правда, с предчувствием приближающейся катастрофы. На Париж я получил литературную стипендию. Ника, с которой я познакомился и подружился в Институте, как стипендиатка поехала в Москву. Первый

¹² Teodor Bujnicki (1907–1944) – поэт, друг юности Милоша.

прочитанный мною том стихотворений Бориса Пастернака, «Второе рождение» – ее подарок. Примерно тогда Пастернак в последний раз выехал за границу, в Париж, на Конгресс в защиту культуры, но позиция его уже была шаткой, и его переставали печатать.

Напротив Арсенальской – вход в Телятник. Я не раз проходил по аллее в сторону Королевской улицы, и у меня бывало немало разных переживаний. Но с этим садом не связаны сентиментальные воспоминания. Проходной, как все публичные скверы, он не стал местом для разговоров и держания за руки, потому что вид теснившихся на его скамейках няnek и солдат как-то отбивал охоту к известной повторяемости таких занятий. Наверное, самые выразительные детали закоулков сада остались в памяти с детских игр, когда сад был еще запущенным и почти диким.

Бакшта

Никогда в виленские годы я не задумывался, почему эта улица так называется. Это слово неясно ассоциировалось с башней, что так и есть. Бакшта была очень старой, темной, узкой улицей, с выбоинами на проезжей части, там и сям не шире двух-трех метров и с бездонными канавами. В детстве я немного боялся углубляться в нее – она имела недобрую славу: сразу при входе на нее с Велькой нужно было пройти мимо дома с покрашенными белой краской окнами – больницы венерических болезней. На верхних окнах сидели находившиеся там на принудительном лечении девицы, насмехаясь над прохожими и выкрикивая неприличные слова. Проституция в Вильне заслуживает внимания не потому только, что она существовала: эта старейшая профессия нигде не подает признаков исчезновения, а лишь меняет формы. Так вот, в Вильне

проституция сохранила формы девятнадцатого века, я бы сказал, российского девятнадцатого века: она была такой, как в романах Достоевского. Это значит, что попойки офицеров и студентов в исключительно мужской компании заканчивались поездкой «к девочкам», то есть в многочисленные бордели, адреса которых знали все извозчики. На определенных улицах, в основном, на тех, пониже Бакшты, над речкой Виленкой (улица Лоточек, Сафьяники и др.), особы женского пола выстраивались перед брамами, приспособиваясь к изменениям климата – зимой заворачивались в шерстяные платки, обувались в валенки или длинные сапоги и притопывали для разогрева на снегу. Резервуаром этой рабочей силы, как и прислуги, была деревня или «деревянные» предместья, не слишком отличавшиеся от деревень.

Но Бакшта – это, прежде всего, Барбара. Кое-где, в особенности со стороны склонов и обрывов над Виленкой, прохожий, заглядывая за брамы, видел большие дворы и сады, и одним из таких просторных владений был «дом Рёмеров». Если не ошибаюсь, там была конечная цель моего первого путешествия с Невяжи в Вильно, так как ехали на лошадях, и подворье Рёмеров, с многочисленными конюшнями и сараями для экипажей, становилось подходящим местом для приезжих. Путешествие было далеким – 120 верст, и значение его не уменьшается от того, что позднее я научился такое расстояние проезжать на автомобиле за час. Почему мы заезжали к Рёмерам, какие товарищеские отношения нас с ними связывали – не знаю. Во всяком случае, позднее, в мои гимназические годы, «домом Рёмеров» управляла Барбара – и прислуга, и мажордом. Барбара происходила из моих родных мест, немного подалеже в Жмудь, из-под Кракинова, и служила когда-то у моего деда экономкой. С тех пор между нами

сохранялись близкие дружеские отношения, так что Барбара часто навещала нас на Подгурной. Высокая, державшаяся прямо, строгая, тонкогубая, она выглядела так, как большая часть темноволосых и темноглазых литовцев. Старая дева, святоша и фанатичная литовка – над этими ее качествами у нас дома немного подсмеивались, но доброжелательно. Во всем Вильно только в одном костеле, св. Миколая, служили литовские мессы (т.е. проповеди и песни на этом языке), и, конечно, Барбара только туда и ходила на мессу. Впрочем, прислуга составляла там большую часть прихожан. Позднее рассказы моих венско-парижских друзей о чешских городках времен габсбургской монархии вызывали у меня улыбку. Конечно, там говорили по-немецки, и чешский оставался языком домашней прислуги. Это я хорошо знал, с той разницей, что на нашем востоке польский занимал место немецкого.

Из того, что я рассказываю о Барбаре, нелегко сделать вывод о силе моей эмоциональной привязанности, однако ее образ сопровождал меня в странствиях по двум континентам. Если кто-то столь неотступно присутствует в нашем воображении, не происходит это без причины. Жилище Барбары, суровое, как и она сама, я помнил с Шетейн, и эта женщина, которой, наверняка, давно уже нет на свете, осталась для меня одной из важнейших фигур моего раннего детства.

Бакшта, расположенная так близко от университета, почти напротив угла Велькой и Свентояньской, играла важную роль в жизни студентов – ведь там находилась Mensa. Не столовка, не харчевня, не закусовая, не буфет, не пункт общественного питания, а именно Mensa. Одно из главных предприятий Братняка, причем бесплатное, или льготные боны на обеды выступали в качестве ставки в политической

борьбе за власть. Это довольно неприглядное, мрачное строение, некогда, вероятно, интернат для семинаристов, много лет было единственным студенческим общежитием в Вильне, пока не построили другое, очень современное, на Буффаловой горе. На Бакште я никогда не жил, лишь иногда заходил в коридоры с почерневшими, изношенными деревянными полами, чтобы навестить коллег. Запах щелока, нефти, мыла, табака. Такой же коридор на втором этаже вел в Mens'у. Ее столики, покрытые запятнанными скатертями (или клеенкой?), вырисовываются передо мной очень неясно, зато я отчетливо вижу столик-кассу при входе, где покупались талончики на отдельные блюда. Их почти всегда продавал маленький карлик с увядающим лицом, с фантазийным черным бантом вместо галстука – Гасюлис¹³, вечный студент, личность легендарная уже тогда, так как он состоял в студенческих организациях в доисторическую эпоху, быть может, даже в

1922-ом или в 1923-ем годах. В Клубе бродяг его уважали как сеньора, как одного из основателей; его временами датировались некоторые песни, вдохновленные, скорее всего, обожаемой тогда «Книгой джунглей» Киплинга («На высокой горе павианы дикий танец плясали»). Теперь я думаю, что Гасюлис – как и, вообще, весь Клуб бродяг – был очень *hippie*. Наши широкие черные береты с разноцветными хвостами высмеивали все принятые головные уборы. А его черный бант происходил прямо от младопольской богемы, так же, как и пелерина популярного в городе харцмистра¹⁴, тоненького, грустнолицего Путяты. Несмотря на чисто литовскую фамилию, не думаю, чтобы Гасюлис знал литовский. Носило его когда-то по очень отдаленным местам, жилал он, может, даже в Кракове или в Познани, о чем я не мог тогда узнать, так как разность поколений исключала фамильярность со столь прославленной, хотя и несколько комичной, личностью.

[Окончание следует]

¹³ Был расстрелян советскими властями за то, что срывал государственные указы. – Прим. Ч. Милоша.

¹⁴ Старший инструктор Союза харцеров (юношеской скаутской организации).